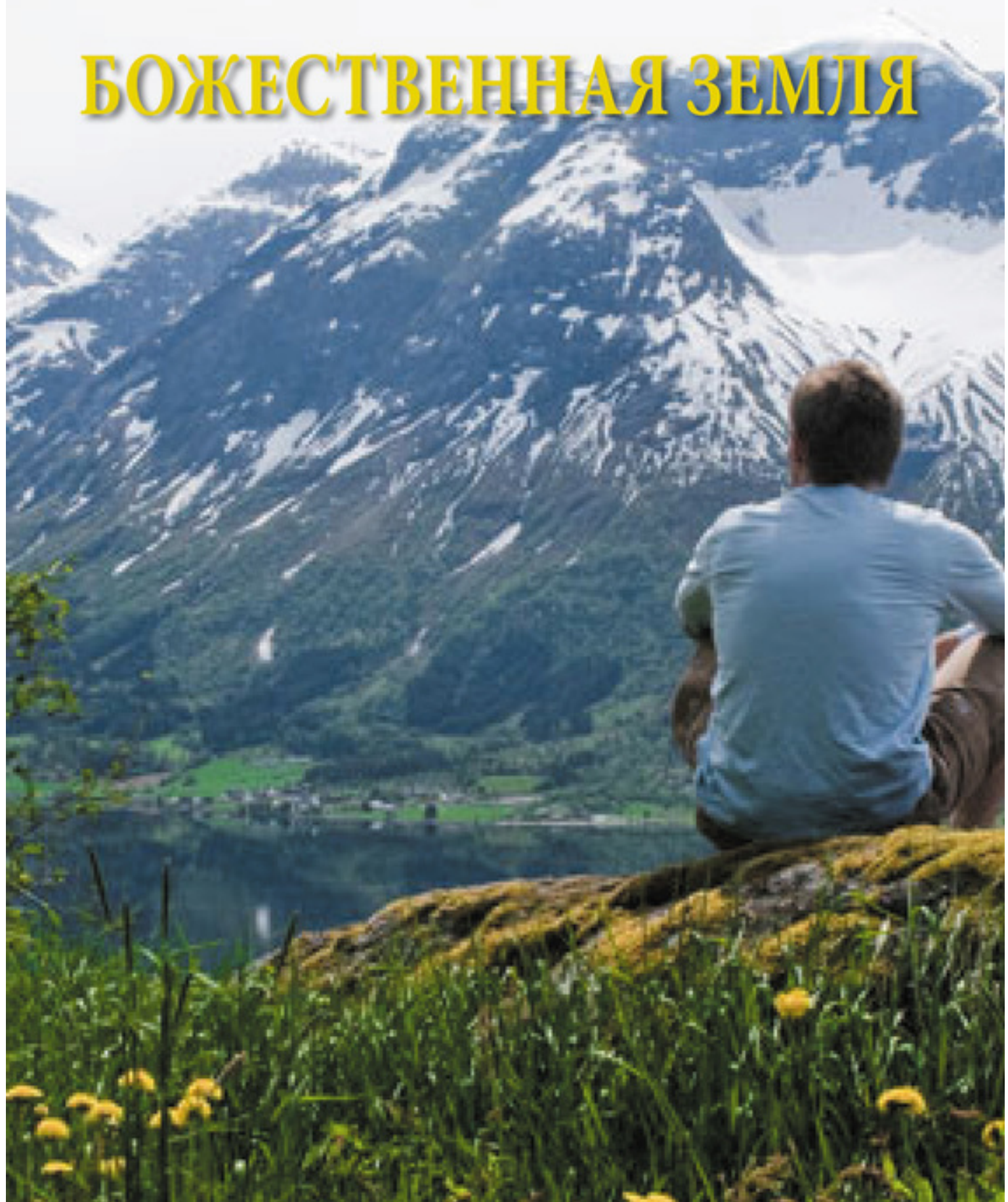


Юрасов И. И.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЗЕМЛЯ



Игорь Юрасов
Божественная Земля

«Издательство «Перо»»

2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Юрасов И. И.

Божественная Земля / И. И. Юрасов — «Издательство «Перо»,
2016

ISBN 978-5-906909-76-3

Автор, Юрасов Игорь Иванович, много бродил по земле в поисках содержания жизни, и для себя он нашёл интерес и содержание бытия не в деньгах, не в карьерном росте, не в житейских благах, а в попытке понять себя через творчество. И, кажется, в каком-то смысле, хотя бы отчасти это ему удалось.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906909-76-3

© Юрасов И. И., 2016
© «Издательство «Перо», 2016

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Игорь Юрасов

Божественная Земля

Глава 1

Весна

Была ранняя весна, время года, когда в Первопрестольной чистое небо часто затягивают сырые, мрачные, полные влаги небесные хляби и падающий с небес липкий, влажный снег к середине дня может смениться дождём, а дождь к вечеру снова перейти в липкий, влажный, пропитанный водой снег.

Пожилой человек, смотревший в окно на привычную его взору панораму столичного проспекта с просевшими, грязными сугробами на газонах, с катящими неведомо куда, разбрызгивая по сторонам жидкую мешанину воды и снега, потоками машин, скоплениями людей на тротуарах, фасадами зданий в сетке дождя, с магазинами, офисами, отелями, довольно улыбался.

Он улыбался потому, что скоро, со дня на день, ему надо будет идти в отпуск, а где-то, далеко-далеко отсюда, от этой слякоти и вечно затянутого сырыми, набухшими влагой тучами неба, под южным улыбчивым Солнцем лежит маленький, удалённый от извечных проблем цивилизации городок, по улицам которого об эту пору плывёт горьковато-пряный запах цветущего миндаля, в магазинах полно хорошего вина, а на весенних, тающих негой в будоражающих сознание вешними ароматами улицах много цветов и улыбающихся, деликатных, дружелюбных, красивых южных женщин.

В его глазах это что-то значило. Тепло, хорошо знакомый ему с далёкого детства запах цветущего миндаля! Еле угадываемое на слух жужжание пчёл. Цветущие розоватым цветом абрикосовые деревья и девственно-белым девическим цветом – сливы и вишни.

В этом был некий доступный и понятный только его уму южанина, человека, выросшего на побережье Чёрного моря и лучше юга и непонятным образом волнующей сознание панорамы морской синевы ничего в жизни не видевшего, особый смысл.

Вот мужчина и улыбался от переполнявшего его ощущения полноты жизни, потому что ему казалось, что тот минимальный кодовый набор, своего рода корзину бытия, что была необходима ему для ощущения полноценности существования, он набрал полностью. И если чего-то ему и не хватает, чтобы быть на необходимом ему в его понимании уровне, то это уже совсем мало что значащие, не имеющие решающего значения пустяки.

Он был высок, худ, чуть сутуловат; короткая, на пробор, русая причёска уже белела первой заиндевелой порошей. Простой, без изысков, костюм выглядел тесноватым на его широких плечах, а воротник белой рубашки, застёгнутый наглухо, натирал, должно быть, ему шею. Ослабив галстук, он расстегнул воротник и облегчённо вздохнул, отчего светлые, цвета спелой ржи брови взлетели птицами над льдистой, холодной голубизной глаз, а простое, курносое лицо, обветренное, с признаками обморожения, какие бывают у людей исконно бродяжьих профессий: моряков, геологов, золотоискателей – расслабилось, приобрело устойчивое выражение довольства собой и всем тем, что он видел.

И, вполне возможно (хотя, конечно, как на чей взгляд), у мужчины для этого имелись кое-какие достаточно веские основания.

За его спиной на рабочем столе лежал отчёт о проделанной за год работе, получивший одобрительную оценку на учёном совете. И хотя, кроме общих и более чем скромных рекомендаций, отчёт вроде бы ничего не содержал, мужчина считал, что год, проведённый им в экспедиции, не пропал даром.

А что касается результатов, то что поделаешь! Такова работа исследователя-поисковика. Издержки профессии. Иногда и пять, и десять лет пройдёт, пока появятся первые обнадеживающие результаты, а бывает порой и целой жизни оказывалось мало, и проходило пятьдесят, а иногда и сто лет, прежде чем высказанные однажды новые идеи и принципы получали всеобщее признание и обретали законную, общепризнанную силу.

А нередко бывали и трагические случаи. Известно, и немало, совсем печальных историй, когда за открытия, за новое слово в науке приходилось платить единственным настоящим, что-либо стоящим богатством, которое есть у человека, – собственной жизнью.

Одним из многих примеров тому может служить история открытия золотых приисков на Вилуе или, например, печальная участь первооткрывателей архангельских алмазов, предложивших новые идеи поисков алмазов в грязевых болотах Архангельска и расстрелянных по ложному навету.

Прошло пятьдесят лет. В сохранившихся случайно архивах нашли старые записи. В записях нашли давно забытые фамилии и описание нового месторождения алмазов в вулканических болотах под Архангельском, и спустя без малого пятьдесят лет открытие благополучно «открыли» вновь.

Да мало ли таких примеров! В нашем достославном государстве им нет числа. Как и вообще в науке, и у нас, и повсеместно.

Но прогресс остановить нельзя. Мужчина задумался. Насколько он помнил, когда-то и они вдвоём с другом детства Монголом были настолько наивны, что мечтали запросто совершить переворот в той области знаний, которой они интересовались.

Как давно это было! Сколько всего поменялось в жизни! И где теперь Монгол, а где он?

Мужчина посмотрел на отчёт и вздохнул. Конечно, он был уверен в правильности высказанных в отчёте мыслей. Разумеется, они не блистали особой новизной. Если бы это хотя бы что-то определяло! Обычная рутинная работа. Такой же отчёт он написал в прошлом году. И в позапрошлом.

Одни и те же слова. Одни и те же мысли. Одно к одному. Но реального выхода не было. Не было того, ради чего они трудились год за годом в этих жутких, кошмарных, полных опасностей условиях, несовместимых с нормальными представлениями о жизни и быте; в страшных, гибельных краях. И всё, если как следует подумать, зачем? Чтобы кто-нибудь в главке в случае удачи отрапортовал об успешном завершении работ, огрѐб за доклад, как принято, лавры первооткрывателя и причитающиеся к лаврам поощрительные блага?!

Ну, наверно, и им что-нибудь перепало бы с барского стола: дополнительные отпуска, санаторские путѐвки, премии и, возможно, небольшая, на пару дней, шумиха в прессе.

Но не было ни нефти на тех горизонтах, на которых они бурились, ни чего-либо, что могло бы оправдать те немыслимые расходы сил и средств, которые им приходилось тратить на изыскательские работы. Соответственно, и мысли в отчёте не блистали особой новизной. Хотя в случае успеха предприятие стократно могло окупиться сторицей.

Но как это всё было далеко от того, о чём они когда-то на утренней заре своей жизни, по молодости, мечтали! О лёгком красивом труде. О победах! О феерических удачах! Но далеко не у всех восторженные юношеские мечты впоследствии совпадают с существующими в действительности грубыми, а порой и невыносимо жестокими реалиями жизни.

И, разумеется, как и любой труд, его работа требовала серьёзных познаний и отработанных годами навыков, а также удачи и, далеко не в последнюю очередь, счастливого наития.

И, как он считал, чем-то таким он в какой-то мере обладал. Не зря же он топтал матушку-землю. Во всяком случае руководитель института, учёный, чьи научные работы, кроме отечественных журналов, печатались на Западе в таких серьёзных научных изданиях, как «Дайджест Сайентист», наложив собственноручно резолюцию на титульном листе отчёта и переворачивая в задумчивости страницы, по-дружески спросил:

– Так вы, Иван Иванович, считаете, что на архипелаге необходимы дополнительные исследования?

– Без сомнения, Феликс Владимирович. Нам во что бы то ни стало необходимо продолжить на Новой Земле дальнейшие разработки. Там наше будущее. Никакие, самые фантастические, финансовые затраты на поисковые работы не могут считаться достаточными. Потом, в веках, всё окупится. Мы на правильном пути.

– Эх хватил! «Наше будущее»! «Потом всё окупится. Мы на правильном пути», – рассмеялся Феликс Владимирович. – Вам, кажется, не так уж далеко и до пенсии! А вы такие планы рисуете! Не витаєте ли вы в облаках? Может, на всякий случай, спустимся с облаков на грешную землю? В конце концов, если не ум, то наш возраст кое к чему нас обязывает.

– Никого ни к чему возраст не обязывает! – возразил Иван Иванович. – Поверьте мне! Что с того, что на пенсию? Пятьдесят лет – если не для всех, то для многих – совсем ещё не возраст. Может, я кое-что только-только впервые начал понимать. Или начинаю. Может, мне во многом ещё надо разобраться!

– А раньше времени не было? Недосуг было?

– Раньше по младости вопросов этих не было.

– Ничего себе «младость»! К этому возрасту у всех обычно все вопросы уже решены. А вы только-только что-то собираетесь решать. Не кажется ли вам, что это крайний случай? Клиника!

– У некоторых, у которых все вопросы уже решены, к этому возрасту и вообще по жизни каких-либо вопросов не густо было. Им эти вопросы ни к чему с босоногого мальства и до конца дней были. А у меня так получилось, что к концу, к последней финишной прямой, этих самых никому не нужных вопросов изрядно поднакопилось.

– Тогда что же вы, докторскую защитить хотите?

– Докторскую? – переспросил Иван Иванович.

Он на какое-то время задумался и произнёс:

– Пожалуй нет.

– Что же в таком случае за причина, по которой вы хотите продолжить исследовательскую работу? Титульная, статусная? Чего вам ещё по жизни не хватает?

– Поверьте, – отвечал Иван Иванович, – Всё необходимое обычному человеку у меня имеется. Причина общечеловеческая. Есть, знаете ли, кое-какие не дающие мне покоя мысли, и не в последнюю очередь насчёт себя. Надо наконец решить, кто на самом деле я. И ряд сопутствующих проблеме деликатных вопросов. Их необходимо додумать, разобраться до конца, до полной ясности. А пенсия – это конец дороги. Тупик с общеизвестным окончанием.

– Значит, опять север? Опять зимовки? Тяготы и лишения необустроенного полярного быта? Что же, у вас нет личной жизни? Или вы боитесь в вашем возрасте заводить серьёзные отношения? Это, поверьте мне, не так уж сложно.

– Если бы это в нашем возрасте что-нибудь решало! Хотя бы какую-нибудь часть проблем, – огорчённо возразил Иван Иванович. – Наши проблемы бытом не решаются. Это мы уже проходили. Личную жизнь, семейное обустройство. И с чем в результате остались? Так называемая личная жизнь в банальном, общеупотребительном смысле – это не решение вопроса. Во всяком случае для меня. – Иван Иванович на минуту задумался. – Если любишь дело, которому служишь, если пришёл к нему по велению сердца, по призванию, оно может значить гораздо больше, чем так называемая личная жизнь. Дело, которому служишь, – это тоже личная жизнь. Значительная её часть. Возможно, для некоторых, не для всех конечно, а для таких, как я, – самая главная.

– Ну, это явный перебор. Вы, часом, не того? – Феликс глянул с укоризной и покрутил пальцем у виска. – Нет у вас боязни, что вы безумно, с катастрофическими для вас личными последствиями, ошибаетесь?

– Может, и ошибаюсь! Кто в этой жизни не ошибается? Такое право есть у каждого. Но, на мой взгляд, намного лучше ошибаться, чем жить монотонной, «правильной», однообразной, тухлой жизнью среднестатистического обывателя, героя родной улицы и ближайших пивнушек, живущего в ожидании, как главного события в никчёмной, ничем разумным не наполненной жизни праздника – выхода на пенсию, и затем неминуемого естественного конца. Или, наоборот, устраивать вселенский выпендрёж и немислимо, без меры гордиться как великим достижением тем, что не пьёшь, как бы здраво, как непьющий, мыслишь и исповедуешь в быту христианскую святость и вегетарианство. Если это имеет хоть какой-то разумный смысл.

В глазах учёного мелькнуло непонятно что: то ли искорка смеха, а может – неподдельного, доброжелательного интереса.

– Нет, откуда ни глянуть, «везёт» же мне с вами, – горестно вздохнул Феликс. – Это же надо! У всех моих друзей сотрудники как сотрудники, но у меня, – страдальчески закатил он глаза. – Подумать только! Это же надо! То вас работать не заставишь, то от работы не оторвёшь. Где вас таких только делают!

– Я думаю, в месте, хорошо вам известно, шеф, – ответил, скромно потупясь, Иван Иванович. И добавил: – А ничего другого, лучшего, никем пока не придумано. К всеобщему удовлетворению. Медицина, знаете ли, пока сильно отстаёт от императивных требований жизни. А что касается работы, не за зарплату же мы служим и не то, чтоб ради одной только выгоды. За зарплату работают наёмники. Батраки! За кусок хлеба, за грошовую подачку, за миску похлёбки. Примитивное биологическое выживание. Жизнь ради еды и удовлетворения двух, от силы трёх, естественных физиологических потребностей. Убогое маразматическое существование! Жизнь слепого, безмозглого дождевого червя. Добропорядочного потребителя сериалов и гамбургеров. Труд таких людей поэтому и называется наёмным. А наши интересы чуть выше финансовой стороны дела. С годами, как ни странно, приходишь к убеждению, что деньги не так уж много значат, а тем более что-либо решают в нравственном и самопознавательном отношении, кроме убогих, сугубо материальных вопросов в нашей жизни. И, да простится мне эта тавтология, любому ясно: чем больше у человека денег, тем хуже у него с тем, что в заурядном обиходе называется банальным, заезженным донельзя, пошлым словом «душа». Хотя, следует признать, все мы, кого ни возьми, не очень этим богаты.

Учёный, членкор Академии наук, за долгую жизнь не заработавший ни лишней копейки, ни палат каменных (хотя мог бы при новых властях развернуться, накопать по-скорому, как некоторые, многие другие, миллиончик-другой в любой валюте), глянул как-то странно, искоса на Ивана Ивановича, скривил досадливо губы, как будто спросил: «Так ли это? Что же тогда, на ваш взгляд, в этой жизни имеет истинное значение?», а вслух сказал:

– Ой ли? В самом деле? Между прочим, к разговору о деньгах! На днях звонил, чуть телефон не оборвал, ваш друг Монгольский.

– Витька?

– Виктор Андреевич, – деликатно поправил Ивана Ивановича Феликс. – Спрашивал о вас. Он очень интересовался, чем вы так заняты, что никак не можете навестить его? Может, вам помочь выбрать время? Или вы перестали быть друзьями? Так вот к чему это я: ваш друг, насколько я понимаю, придерживается прямо противоположных взглядов. Если я правильно понял, он считает, что в его случае как раз деньги решают всё, – высказался, с любопытством ожидая ответной реакции Ивана Ивановича, Феликс Владимирович. Железный Феликс, как все они его уважительно, с почтительной долей любви величали. – «Сначала деньги, – сказал ваш друг, – а уж с деньгами я добьюсь всего, что только моя душенька возжелает».

– А вы не скажете, откуда он звонил? – поинтересовался Иван Иванович.

– Он почему-то мне сказал, что из Штатов, – ответил Феликс. – Вы не скажете, почему из Штатов? Что происходит? Я что-то не понимаю? – спросил удивлённо Феликс Владимирович.

В глазах старого учёного, бессеребренника, идеалиста, отдавшего всю жизнь чистой науке, верившего в беспрекословную непогрешимость впитанных с младенчества святых идей, которым он верой и правдой служил и поклонялся, читались недоумение и старческая, детски наивная беспомощность.

– Вечная дилемма, многоуважаемый шеф, – рассмеялся Иван Иванович. – Детская загадка, философский тупик: что первично, что вторично: яйцо или курица, мысль или воплощение, слово, идея или всё же первичен поступок.

– И что же выбираете вы? – спросил Феликс как-то неуверенно, со старческой робостью, словно опасался услышать неприятный, пошлый, вульгарный ответ.

И его неуверенность можно было понять. В перевернувшемся вдруг с некоторых пор – с приходом к власти новых хозяев жизни – с ног на голову мире, в котором деньги для многих стали означать почти всё, если не всё, его устаревшие принципы мало что значили. Люди вдруг словно сошли с ума.

Добрые старые идеи, обеспечивавшие раньше стабильность и устойчивость общества, неожиданно перестали существовать. Их неожиданно перестали уважать. За них больше не платили, как было принято в добрые старые, не столь отдалённые времена, всеобщим признанием.

И, судя по всему, в этих обстоятельствах старый учёный чувствовал некоторую растерянность. Он не был готов, как и Иван Иванович, к жизни в новой, возникшей спонтанно, непонятно откуда, из каких-то неведомых заморских далей реальности. И Иван Иванович хорошо понимал состояние старого учёного. Это невыносимо тяжело, когда новые, скороспелые, не выверенные временем, очень спорные по отдалённым последствиям нововведения подавляют привычные старые, проверенные временем и жизнью идеи.

– Вы спрашиваете, что я выбираю? – спросил он. – Разумеется, идею! Всё остальное вторично. Деньги, блага, шикарная жизнь, необычайные возможности как для всех не знаю, а для такого человека как я – всё вторично. Только добрая, хорошая, здравая идея одушевляет и придаёт всему нормальный человеческий смысл и общечеловеческое значение.

Феликс с сожалением посмотрел на Ивана Ивановича, как на человека, от которого трудно ожидать чего-либо оригинального, необычного. И Иван Иванович хорошо знал, почему он так на него смотрит: в глазах учёного он сильно проигрывал, уступал во всём своему другу Монгольскому.

Всё же Монгольский был его любимцем и лучшим учеником. Поговаривали даже, что наверняка Феликс будет рекомендовать его на своё место научного руководителя института в случае своей предполагаемой некоторыми сотрудниками какой подряд год со дня на день отставки.

А что вышло? Когда после широко заявленной перестройки, а затем, как принято в этой бедолашной стране, тихого дворцового переворота они вдруг оказались без средств к существованию и каких-либо видов на дальнейшую перспективу, им пришлось искать заработок на стороне. И это – если подходить прежними, советскими мерками – совсем не последним людям в государстве!

От них, от их участия в производственном цикле всё же что-то зависело в экономике этой страны. И её независимости, и, понятно, самочувствию её рядовых жителей, граждан.

Так проныра и мот с задатками дельца Монгольский оказался в Штатах, а Иван Иванович – в своей глухоманной деревушке на берегу ласкового, тёплого, синего, милого его сердцу Чёрного моря.

А Феликс выдержал. Не зря они звали его железным. Он всё выдержал и сберёг в сохранности от безграмотных, диких варваров, «эффективных менеджеров», в избытке появившихся в правительстве, в Новой власти, здание науки – Храм, который он строил всю свою трудную,

сложную жизнь. Теперь, как некогда древний библейский пастырь, он собирал их обратно, своих блудных, разбрёдшихся по всей стране, учеников.

Но... кто хорошо устроился в новой жизни, а кто – лучше, чем хорошо, – в чужедальной стороне.

Назад вернулись немногие. Вот он, Иван Иванович, вернулся. И как он мог объяснить старому учёному, что происходит не с ним одним и с Монгольским, а что со всеми ими происходит?

Кто каким богам вдруг, после прихода новых властей, начал молиться; кто новую дорогу, забыв и отринув прежнюю как никому не нужный хлам, в погоне за лучшей долей выбрал.

И почему из одинаковых вроде бы людей вдруг оказалось, что кого-то привлекает богатство и он всю жизнь кладёт, чтобы разбогатеть, наскрести бабла по-скорому, и, возможно, в этом и есть его заскорюзлое, сермяжное, скопидомское, барыжное счастье. А другим, чтобы нормально существовать, и денег никаких особо не надо: живут себе налегке, без лишних забот и ненужных проблем, никому не кланяясь, никого не чтя и без меры не уважая, привольно, вольготно и счастливо. Живут себе, как птички божьи, припеваючи, на то, что им бог послал, и счастливы, и довольны, и в жизни ищут что-то весьма далёкое от финансового благосостояния и материальных благ.

За всех, разумеется, он не стал бы ручаться, но, что касается Феликса и себя, мог со всей определённой уверенностью утверждать, что деньги ничего в их нравственном и физическом бытии не могли бы изменить. Скорее наоборот. Наличие больших денег могло бы изрядно обеднить их, опустошить. Такой парадокс заключался в самой идее их существования.

С большими деньгами они могли потерять всё, даже самих себя. Он так и сказал старому учёному.

За разговором они допивали уже третью чашку кофе, приготовленную услужливой секретаршей Софьей. Видя, что разговор зашёл в тупик и никакое кофе не в состоянии прояснить суть проблемы (видимо, для решения задачи требовалось что-нибудь покрепче), Феликс сожалеюще заглянул внутрь опустевшей посуды, посмотрел отстранённым взглядом, непонимающе на Ивана Ивановича и спросил с нотками укоризны в голосе:

– Если вы исповедуете такую давно изжившую себя и благополучно забытую всеми философию, что же ваш друг Монгольский придерживается прямо противоположных взглядов? Насколько мне известно, вы из одной деревни?

– Деревня у нас, вы совершенно правильно сказали, одна, – понимая, что аудиенция близится к завершению, подвёл итог разговора Иван Иванович. – Да, деревня-то одна, только вот беда: люди в ней разные.

Глава 2

Друзья

Да, деревня, конечно, откуда ни глянуть, и в самом деле одна, задумался мужчина над недавним разговором с Феликсом, глядя в окно на тонущий под дождём проспект, на людей под зонтиками, на несущиеся в потоках брызг автомобили.

А вот люди! Взять хотя бы их с Монгольским! Совсем недавно, казалось бы, они были друзьями. Всего несколько лет назад.

И какими друзьями! Они делились друг с другом, что называется, последним куском хлеба и разговаривали о понятных друг другу вещах на понятном им обоим языке, хотя, бывало, что и с трудом приходили к единому мнению.

Нет, в каком-то смысле они и по сей день друзья. Какая-то связь с тех пор осталась. В их отношениях почти ничего не изменилось. Почти! Слово-то какое!

Это и в самом деле выглядит как-то так, если не принимать во внимание некоторых, совершенно ничего не значащих во взаимоотношениях между бывшими некогда друзьями существ пустяков.

Ныне Витька Монгольский – не хрен собачий, не абы кто, не чета любому и каждому, судя по всему – миллионер и живёт, как это у них, у простых, бывших некогда обычными советскими людьми, миллионеров принято, «за бугром», в райских, благословенных, возлелеянных судьбой и небом Соединённых Штатах Америки, а он, некогда его друг и сотоварищ, как был, так и остался нищим геологом, человеком без средств, без видов на ближайшую и более отдалённую перспективу. Такая вот вышла незадача. Кому и на что сетовать?

И сетуй не сетуй – капиталов на сетованиях не наживёшь. Впрочем, ещё очень даже неизвестно, что есть на самом деле истинный, настоящий капитал. Некоторые утверждают, что здоровье; иные уверяют, что умственные способности; третьи – что наличность.

Хорошо, конечно, когда всё сочетается вместе: и ум, и здоровье, и, не в последнюю очередь, деньги. По некоей, никому достоверно не известной формуле, кому чего сколько: кому – ума палата, кому – денег, а кому самого главного – здоровья! А коли есть здоровье, об остальном есть время подумать.

И уж кто-кто, а его друг Монгольский, на удивление, всем взял и был довольно редким экземпляром человеческой породы, на зависть друзьям и врагам, довольно удачно сочетающий в себе и ум, и редкую среди обычных людей привлекательность, и уникальную физическую силу, и теперь ещё, видимо, по всей вероятности, тонны денег в любой валюте.

Так иногда случается. Где-то он слышал довольно расхожее в народе мнение. В народе говорят, что всесильная природа, создавая людей, как бы долго отдыхает, создавая серийные, штампованные, совершенно ничем содержательно друг от друга не отличающиеся экземпляры человеческих существ, одинаково пошлые, убогие и унылые, и вдруг, словно устыдясь, очнувшись от летаргии, поскребя по сусекам, собравшись наконец с силами, создаёт редкий, штучный, уникальный экземпляр человеческой породы.

Должно быть, что-то похожее произошло, по всей вероятности, с Монгольским. С Витькой Её Величество Природа постаралась даже слишком, создав уникальный шедевр, нечто эталонное в физическом и интеллектуальном смысле.

И когда афиши в вестибюле института сообщали о соревнованиях по вольной борьбе, насколько помнил Иван Иванович, институтский спортзал не вмещал зрителей. И посмотреть было на что.

Команды по факультетам представляли молодые, сильные, тренированные мужчины. Огромный институтский спортзал наполнялся задором молодости, ароматом юношеских надежд и витавших в воздухе молодёжных безграничных чаяний.

И зрители были под стать спортсменам: молодые, азартные студенты и студентки, у которых всё ещё только-только начиналось. Вся великая и волнующая тайна жизни у них ещё была впереди.

Зал награждал победителей аплодисментами. Как водится, девушки вручали им награды и цветы. Но все с особым интересом ждали выступления супертяжей. С нетерпением ждали выступления Монгола. В основном, все и приходили поглядеть на Монгола.

Он был гвоздём программы. Вот уж на кого стоило посмотреть! Он легко двигался. Покошачьи быстро и неуловимо. И когда Монгол выходил на ковёр, равных в вольной борьбе ему не было.

И любо-дорого было смотреть, как непринуждённо, словно танцуя начальные па Аргентинского танго, он делал несколько ритмичных шагов, брал противника в захват и бросал одного за другим, как кули с мукой, огромных мужиков на помост.

Зал взрывался от аплодисментов. Стены вздрагивали от приветственных криков. Зрители рукоплескали наиболее эффектным приёмам Монгола.

Это была завуалированная демонстрация мужской силы и красоты. Девчонки-сокурсницы визжали от восторга. И было от чего.

Монгол динамикой своих движений напоминал игравшего Геракла артиста Стива Ривса в шедшем тогда на экранах кинотеатров красочном американском фильме-сказке «Подвиги Геракла».

Он и был мужчиной-сказкой. Таким, которые на дороге не валяются и которых очень трудно где-либо просто так встретить или где ни попадя найти.

Он приводил в восторг зал, особенно, когда, бросив через себя очередного громилу, поднимал бугрящиеся рельефной мускулатурой руки и поворачивался на аплодисменты перед рукоплещущими зрителями. Полубог-получеловек. Зал взрывался от оваций и приветственных криков.

И Иван Иванович, заходивший в спортзал, чтобы словить на карандаш стремительный бросок через себя, борьбу в партере, суплес или двойной нельсон в мастерском исполнении Монгола, по-доброму немного завидовал своему товарищу, и аплодисментам, и восторженному гулу толпы.

«Как всё-таки везёт некоторым!» – с доброй завистью думал он.

Его друг – ничего не прибавить и не отнять – был и умён, и божественно красив, и восхитительно силён, и удачлив в своих начинаниях. Позавидовать действительно было чему. И он искренне ему завидовал.

«Какая всё-таки ужасная несправедливость, – иногда думал он, нанося торопливыми движениями карандаша на листы бумаги наиболее впечатляющие движения Виктора, – когда одному человеку достаётся всё: и ум, и интеллект, и красота, и физическое совершенство. Всё абсолютно, о чём многим и многим остаётся только мечтать».

И надо же, как ведь всё (подумать только!), о чём они когда-то в далёком детстве мечтали, словно по чьей-то высшей, неумолимой воле (раз пожелали – получите!) сбылось. Сошлось точка в точку.

«Как в волшебной сказке сказалось! – вспоминая прошлое, утреннюю зарю, начало своей жизни, улыбнулся Иван Иванович. – Это же надо! Детское вроде бы, вовсе глупое, никчёмное казалось бы предсказание, а поди ж ты, осуществилось полностью. Как в народе говорится: “И к волхвам не ходи”!»

– Да! Всё сбылось. – задумался он. – Сказанные когда-то в детской запальчивости оказавшиеся потом, по прошествии лет, пророческими слова с годами осуществились полностью. И жалеть теперь не о чём.

Впрочем, Монгольский уже тогда, с детских лет, слыл замечательным провидцем. К нему, к мальчишке, ходили солдаты, чтоб он рассказал им судьбу их мужей – солдат. И, случалось, он угадывал правильно. Он тогда, ещё будучи мальчишкой, с точностью до мельчайших деталей угадал судьбу Ивана Ивановича. Чтоб ему пусто было! Мог бы по – дружески, по-приятельски, слегка поднапрячься и что-нибудь поумней предсказать, подушевнее. Может быть, тогда его жизнь сложилась бы совсем по-другому.

Впрочем, Иван Иванович на судьбу не обижался. Что Монгол нагадал, то нагадал! Не перегадывать же! Иван Иванович судьбой был доволен. Да, было времечко! Сколько воды с тех пор утекло?

Иван Иванович, словно прогоняя сон, глубоко вздохнул, отвернулся от окна и сел за рабочий стол. Впрочем, он мог и не смотреть в окно. Всю противоположную стену кабинета занимала картина, изображавшая в точности, в мельчайших деталях, проспект, на который он только что смотрел в окно.

Он отдыхал, когда видел эту картину. Это была не просто картина. Это была картина – Судьба! Он с ней советовался. По ней он выверял свою жизнь. Она даже обладала какой-то магической властью над ним, своим создателем. Созерцая её, он получал удовольствие гораздо большее, чем когда он смотрел на настоящий проспект.

Технически панорама была выполнена великолепно и создавала полное впечатление реальности, может быть, даже более реальной и зримой, чем все эти дома, деревья, люди, сам проспект в этот хмурый, дождливый день выглядели на самом деле.

Картина была настолько реальной, что сам Феликс, зайдя однажды в служебный кабинет Ивана Ивановича и увидев на стене изображение проспекта, остановился в изумлении, потом подошёл к окну, посмотрел на представившуюся взору перспективу, отошёл, походил, странно улыбаясь, разглядывая с разных углов рукотворное творение на стене, пощёлкал языком, сел на свободный стул, разглядывая картину, и, обращаясь к Ивану Ивановичу, одобрительно сказал:

– Замечательно! Хоть сейчас на выставку посылай. Кто же художник? Вы? – И, встав, в задумчивости стал прохаживаться взад и вперед возле картины.

В кабинете Феликса висели два полотна, подаренные ему Иваном Ивановичем по случаю, на юбилей, но он, видимо, до сих пор не воспринимал Ивана Ивановича как художника, признавая его, скорее, как некое недоразумение и в профессии, и в искусстве. А тут со старым учёным словно что-то произошло.

– А знаете, на первый взгляд всё, казалось бы, совпадает, как и вообще что-то на что-то похоже в ваших картинах, но здесь, – Феликс указал на изображение, – отображено нечто совсем другое. Не статичный проспект, а какая-то эмоция, чувство, мысль. Если долго смотреть, можно даже сказать, у зрителя исподволь возникает впечатление, что эта нарисованная на стене дорога куда-то ведёт.

Иван Иванович не стал уточнять, что это не совсем дорога. Что для него это больше, чем дорога. Что эта дорога на самом деле – его Судьба! И, возможно поэтому, у внимательного наблюдателя вполне могут возникнуть спонтанные ассоциации, что дорога не совсем проста и обычна, а нечто гораздо большее и значительнее. Он был доволен, что картина неожиданно произвела на Феликса такое сильное впечатление.

– Таково свойство живописи, – улыбнулся Иван Иванович, услышав мнение учёного. – Обратил всё же внимание старый! Не прошёл мимо. Значит, картина действует магически не только на одного него. Есть в ней что-то не совсем обычное, заурядное. А мог бы и не заметить. Дорога и дорога. Что в ней необычного, привлекающего внимание?

И добавил:

– Для этого, насколько мне известно, и существует живопись. А что касается дороги, любая дорога куда-нибудь ведёт.

– Э-э-э, а сколько дорог, насколько мне известно, никуда не ведут! – не согласился учёный.

– Все дороги в конечном итоге ведут в никуда, – покачал головой Иван Иванович. – Дело, на мой взгляд, не в дороге, а в том, что мы ищем, что мы хотим найти в пути на этой дороге, к какой цели мы, каждый из нас, идём, какая бы она, эта дорога, ни была.

– Что ж, пожалуй, вы правы, – согласился Феликс. – Не зря говорят: «Ищущий да обрящет». В конечном итоге мы, с одной стороны, существа, казалось бы, сугубо материальные. Это очевидно! Возражению не подлежит! И тем не менее каждый из нас в сущности есть то выражение содержания в материальной форме, в нашей недолговечной брэнной оболочке, какую цель на выбранной им дороге он перед собой избрал. Каждый из нас! Мы есть плотское воплощение абстрактной метафизической идеи того, какая цель в конечном итоге движет нами. К чему в итоговом результате мы хотим прийти. Разумеется, эта идеологема справедлива для тех, у кого, конечно, она есть, эта идея. Цель, осмысленная идея существования и есть в конечном итоге то, что отличает человека разумного от животных.

Вспоминая этот разговор, Иван Иванович расстегнул пуговицы пиджака, снял галстук и, устроившись поудобней в кресле, закрыл глаза.

Но и с закрытыми глазами перед его внутренним взором вполне отчётливо опять возникла вереница зданий, уходящих на его картине вдаль. В НЕИЗВЕСТНОСТЬ! Как теперь, после разговора с Феликсом, он понимал. В конечном итоге – В НИКУДА!

Иван Иванович долго и тщательно рисовал эту панораму. Он знал её в мельчайших подробностях, до изысканных тонкостей световой гаммы. Столько труда было положено на эту картину! И результат превзошёл все ожидания. Когда он долго рассматривал своё творение, он явно ощущал, что теперь картина управляет его желаниями и, помимо его личных, не всегда хорошо продуманных планов удерживает от глупых поступков, и настойчиво подсказывает ему путь, по которому ему следует идти.

И Иван Иванович физически ощущал влияние картины, своего творения, на свои поступки и даже на образ мыслей.

Безусловно, что бы кто ни говорил, сначала художник творит то, что возникло в его мозгу, а потом часто так бывает, что творение, уже помимо воли художника, творит и создаёт, формирует своим влиянием окончательный образ своего создателя. Конечно, он никому об этом не говорил, но иногда ему даже казалось, что картина явно действует на его эмоции, сознание, формируя отношение к действительности и образ мышления. Она вмешивалась в его жизнь. Выверяла на разумность его мысли.

И ему это вмешательство нравилось. Он часто молчаливо как бы советовался с картиной прежде чем принять окончательное решение.

Или он всё это выдумал? Чтобы ему было с кем советоваться в сложных житейских обстоятельствах. Во всяком случае что-то такое происходило с Иваном Ивановичем когда он находился рядом с картиной. Слишком многое было связано с этим проспектом у довольно обычного, как он себя понимал, человека, в основе поступков которого была однажды и навсегда, ещё с далёких детских лет осознанно выбранная цель.

Отсюда, с этого проспекта, они с Монгольским уходили в большую жизнь. И отсюда, с этого проспекта, как будто это был кратчайший путь, соединяющий два города, две страны, его друг напрямик попал в Майами, а вот он, Ваняшка, всё шёл и шёл по этой, оказавшейся совершенно неожиданно такой длинной анфиладе, и так до сих пор, как он считал, никуда и не пришёл, и так и остался у этой нарисованной им давным-давно картины, и непонятно ему было, то ли он попросту заблудился или устал, ослаб и в результате не осилил своей дороги. Но всё-таки он ещё шёл. Не отпускала его от себя картина.

Да, предсказание в полной мере сбылось! Чертовски прав был Монгольский. Безвестный деревенский прорицатель. Боспорский оракул.

Лицо мужчины напряглось, губы, сжавшись, стали плоскими, а между бровями появились вертикальные складки. Наверно, он вспомнил что-то давным-давно забытое.

Эта история началась, когда они с Монгольским были совсем маленькими мальчишками. Настолько маленькими, что одного из них родители звали Ванечкой, Ваняшкой, а родители другого называли его Витусей, Витусиком.

Они тогда жили в маленьком городке, приютившемся одиноко среди степных ковылей на песчаном берегу огромного морского залива.

Городок этот потом, когда Ваняшка повзрослел, часто являлся ему во снах, где бы, в каких краях, он ни находился.

В этот день они вдвоём, заранее сговорясь и прихватив с собой по горбушке хлеба, сбежали ранним утром от докучливого, в край доставшего их внимания родителей.

Их путь лежал на берег, в царство пряно пахнувшего горьковато-солёного запаха свободы, яркого солнечного света и безбрежного, неохватного взглядом морского простора.

Море, огромное и величественное, штилело после недавнего шторма, золотясь от края до края пляшущими солнечными бликами.

Мальчишки, завидев море, замерли в немом восторге. Потом они долго носились по морскому песку, бегая друг за другом и радостно крича у кромки лениво плещущей о берег воды.

Наконец они устали. Ваняшка уселся на ступеньках возле белых колонн возвышавшейся над ним в синем небе полукруглой арки, служившей входом на пляж, и стал прутиком что-то рисовать на песке, а Витась принялся ходить по берегу, задумчиво поглядывая вдаль и иногда нагибаясь и подбирая что-то с песка.

Он уже тогда выглядел красивым, крупным, породистым мальчиком по сравнению с мелкокопостным, сереньким, незаметным Ваняшкой. Когда ему наскучило это занятие, он подошёл к Ване и спросил:

– Ну, Ваня, покажи, что ты делаешь?

– Я? – ответил Ваня. – Я рисую солнце.

– А я вот что нашёл, – сообщил Ване его друг и разжал кулачок.

На его ладони, тускло поблёскивая, лежала кучка медных и никелевых монет. Виктор уже тогда, в давно забытом детстве, был разумным, дельным мальчиком в противоположность наивному, даже довольно глуповатому несмышлёнышу Ваняшке, и на его ладони, по их тогдашнему младенческому разумению, заманчиво, тусклой горкой никелевых и медных монеток поблёскивало целое состояние.

– Ого! – воскликнул было Ванечка. – Ты глянь! Это ж сколько мороженого! На целый день!

– Наедемся от пуза, – важно согласился Витусь. – Хочешь, я тебе половину отдам? – спросил друг и, не глядя, отсыпал горку мелочи на другую ладошку и протянул её Ване. – Вот, всё по-честному, тебе половина и мне половина. На! Держи!

Ванечка на минуту задумался. Он был медлительным, и ему требовалось время, чтобы решить что-либо, прежде чем опрометчиво отважиться на любой поступок.

– Ну чего ты? – Витусь недоумевающе толкнул Ваню в плечо. – Всё поровну.

Он всегда был таким, делился с друзьями до последнего всем, что имел. Жадным он не был. Но и приятель ему попался непростой.

– Я даже не знаю, – основательно подумав, медленно протянул Ваня, – нужны ли мне эти деньги... Нет, наверно, – в раздумьи сказал он, – не нужны мне эти деньги. Я не могу их взять.

– Почему? – искренне удивился, и было отчего, Витусь.

Ваняшка насупился, долго молчал, потом, так же насупясь, опустил взгляд под ноги и, покраснев от смущения, скривился и неожиданно сказал:

– Мне мама не велит брать чужое, говорит, что это нехорошо.

– Ну, приятель, даёшь! Так деньги же ничьи! – удивился Витусь. – Их море намыло.

– И ничьё тоже брать нехорошо, – всё обдумав и окончательно укрепясь в своём решении, твёрдо ответил Ванечка.

– Ну крендель! Так берёшь или нет? – переспросил недоумевающе Витусь.

– Нет! – твёрдо ответил Ванечка.

– Раз так, – рассердился Витусь, – тогда, значит, опять поровну: ни тебе, ни мне, никому! – И, широко размахнувшись, бросил монеты обратно в море со словами: «Раз так, пусть всё будет как было!»

Монеты, тускло блеснув на солнце, шлёпнулись обратно в воду, булькнули и ушли на дно. Как их и не было. Это было то, что разделяло их потом всю жизнь. Ивану Ивановичу и по сей день казалось, что он хорошо помнил, как довольно, с ненасытным удовольствием чвакнуло море, принимая обратно латунную и никелевую мелочь – отнятую у волн своеобразным мальчишкой собственность морского владыки.

Кругляшки ушли на дно, и зыбучий песок тут же засыпал, затянул их вглубь, упрятал понадёжней, как бы играючи с мальчишками, чтобы щедрой рукой вновь швырнуть эти тусклые сомнительные символы удачи и преуспевания под ноги им или другим мальчишкам, под настроение, при первом же последующем волнении. Мальчики долго смотрели вслед, туда, куда с плеском упали монеты.

– Это ж сколько мороженого пропало! – сожалеюще высказался Витусь и, вынув из кармана заранее припасённую горбушку, начал откусывать по кусочку и с наслаждением жевать.

– А всё ты! – с раздражением обратился он к Ванечке и даже замахнулся на него кулаком. – Дуралей и ты, и твоя мама. Если бы не ты! Это ж сколько всякой всячины можно было накупить! Мы бы целый день ни в чём не нуждались.

В его глазах читалось сожаление, что ему пришлось, чтобы не упасть лицом в грязь в глазах приятеля, так поступить, и одновременно Ваня увидел в них закипающую злость.

Витусь встал башмаками на рисунок берега, над которым так долго и старательно трудился Ванечка, растоптав и ухотившую на восток дугу залива, и ломаную линию крыши, и смеющееся лучезарное светило.

Ваняшка был на год младше Витуса и послабее, потщедушней. Он, конечно, знал, что Витусь его не ударит. Витусь всегда его защищал. И всё-таки он сжался в комок, поднял, защищаясь, руку.

– А я при чём? – заныл он, закрываясь руками. – Ты нашёл, ты выбросил. Никто тебя не заставлял. Ты сам всё сделал.

– Не заставлял! – согласился Витусь. – Ещё как не заставлял! У-у-у! – зарычал он и поднёс кулак к лицу Ваняшки. – Вот это ты видел? Мама не велит! Всё твои разговоры! – топчась перед сидящим на ступеньке Ваняшкой по его рисунку, распался Витусь. – Художник! Дурошлёп! – И вдруг неожиданно остыл и рассмеялся. – Я, пожалуй, знаю, кто из нас кем будет, когда мы вырастем, – пренебрежительно, с оттенком превосходства в голосе произнёс он.

– Ну? – спросил Ваняшка, с сожалением глядя на то, что осталось от его трудов после ботинок Витуса. – Кем же? – огорчённо, предвидя ответ, поинтересовался он.

– Ты, – топчась по рисунку и получая, видимо, от этого большое наслаждение, сказал Витусь, – ты, Ваня, станешь художником. Нищим, никому не нужным, убогим художником! Будешь за копейки рисовать портреты курортников на набережной и пить горькую, когда наконец заработаешь эти копенки.

– А ты? Кем станешь ты?

– Я? – переспросил Витусь. – О! Я стану богатым, известным, уважаемым человеком. Таким же богатым, как какой-нибудь самый богатый арабский шейх. Мне все будут покло-

няться, и все будут меня уважать. Вот так! Я всё, что возможно и что невозможно, сделаю для этого. Мой папа говорит, что у меня есть все необходимые для этого задатки.

– А мой папа говорит: «Учись, сынок, понимать цвета. Пока у тебя есть ремесло в руках, ты будешь нужен людям, а значит, и люди будут нужны тебе», – насупясь и вытирая запачканным красками кулачком скатившуюся невольно от обиды слезу, сказал, с сожалением глядя на растоптанный рисунок, Ванечка.

«Как всё сбылось! – выплывая из тумана воспоминаний, пришёл к заключению об определённом периоде своей жизни когда-то Ваняшка, а ныне Иван Иванович. – Точка в точку сошлось».

Как наколдовали! Кто он? Жалкий служащий в институте, хотя и с научной степенью, иногда скрашивающий свободные минуты художественным промыслом потому, что иначе он жить не может.

Иначе от житейского однообразия и очевидной никчёмности бытия тоска вселенская может напрочь без остатка заесть. Его жизнь станет пустой и бесцветной, потеряет осмысленное разумное направление и смысл. А зачем жить, если не знаешь, для чего живёшь?

А кто нынче Витусь? Теперь, надо полагать, Виктор Андреевич Монгольский. Точно он не знал, кто теперь Виктор. Скорее всего, очень богатый человек со слугами, охраной, личными водителями. К чему он всегда стремился. Как он всегда говорил: «Дайте мне точку опоры – деньги, а уж с деньгами я переверну весь мир!»

Как он мечтал ещё мальчишкой, когда бегал в набегавших на берег морских волнах и собирал выброшенную волнами на песок мелочь, тускло поблёскивавшие в морской пене латунные и никелевые монетки. Интересно, перевернул он уже мир или ещё не успел? А если перевернул, то куда? Или во что? В каком мире он теперь живёт? В перевёрнутом или нормальном? Или, может, что-нибудь опять ему помешало? Как всегда!

Вот так-то! Постоянно ведь что-нибудь, какая-нибудь неучтённая мелочь, сущий, незамеченный вовремя пустяк вмешивается в наши долго вынашиваемые и втайне от всех лелеемые во сне и наяву планы; в их потрясающее великолепие и грандиозную, не описуемую обычными, банальными словами красоту, и – подумать только! – всё враз рушится и из-за какой-то неучтённой, непредвиденной из-за очевидной малости мелочи летит псу под хвост. Вся неопи-суемая обычными словами красота и грандиозность! И, надо же, псу под это дело! И так всегда! Всё как обычно, согласно никем до сих пор не опровергнутому, второму после закона всемирного притяжения, великому всемирному закону падающего бутерброда!

Так что перевернул он мир или нет – большой вопрос. Ещё не нашлось такого рычага, чтобы мир перевернуть. А деньги – весьма сомнительная точка опоры. Всего лишь фетиш с постоянно меняющейся ценностью. Жалкие талоны на пропитание для одних и источник могущества, силы и власти для других. Пока что на окаянных деньгах всё держится. Вся власть и могущество!

И, потом, кто знает, какую точку опоры выберут люди, когда они вдруг захотят перевернуть мир. Деньги всё-таки слишком примитивно и убого. И вообще ещё неизвестно, каким богам в дальнейшем люди будут молиться и какую систему ценностей выберут. Если прежнюю – деньги, то переворачивать мир не стоит.

Ничего нового и путного из такого переворота не получится. Нужны новые идеалы. Нужны новые моральные ценности. Вечных ценностей не бывает. А старые изрядно обветшали.

Ну а богатым Монгольский безусловно стал. Он так хотел этого. Так мечтал. Как никто!

Общеизвестно: деньги – созидаящая сила общества и одновременно разобщающая сила общества. И деньги, и только деньги, разнесли их в разные стороны! Как щепки в половодье. И кто теперь скажет, кто из них теперь кто на самом деле в этом бешеном, меняющемся с калейдоскопической скоростью мире?

«А ведь шагали когда-то вместе по этому проспекту», – скользнул Иван Иванович взглядом по картине. Вместе заканчивали институт. Вместе работали. Вместе объездили полстраны.

Всегда были вместе. Но где-то он отстал. А может, не отстал, а шагнул дальше, чем следовало, чем было отпущено ему судьбой и его познаниями по профессии к другим, неожиданно возникшим перед ним горизонтам; к новым, не связанным с работой тайнам познания, в которых деньги, слава, личное преуспеяние не имели никакого значения.

Или и это было всего лишь очередным обманом, иллюзией, миражом, как и всё повсеместно есть не что иное, как иллюзия и благодатный, придающий всему смысл и значение, облагораживающий самообман в этом мире. Мы, признаться, только и живём, пока у нас есть эти иллюзии. С окончанием иллюзий жизнь теряет смысл.

Разумеется, нельзя окончательно утверждать, так это или нет. Определённо, конечно, он этого не знал и уверять кого – либо в этом не взялся бы. Однако случай ли помог или это что-то неведомое ему ранее всегда дремало в глубинах его сознания и лишь ждало какого-то толчка извне, стечения обстоятельств, заставивших по-новому взглянуть и на свою профессию, и на самого себя, и на своё пребывание, пусть и временное, в этом лучшем из миров. Найти новую идею, двигавшую им по жизни.

И кто знает, может, не так уж зряшно, понапрасну говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

В одной из последних экспедиций, улучив свободное время, взяв мольберт и прихватив ружьишко на случай встречи с волком или если сдуру белый друг медведь, что на архипелаге совсем не редкость, неожиданно-негаданно поближе познакомиться припожалует (медведи, они любопытные), Иван Иванович по первопутку ушёл из расположения экспедиционного лагеря в окружающие сопки, в тундру поискать хороший сюжет.

Ничто, казалось, не предвещало неприятностей. Лагерь поисковиков скрылся за ближайшим косогором. Свежевыпавший снег карамельно пах и аппетитно хрустел под унтами. Небесные выси над тундрой источали хватающую за сердце, тающую голубизну и прозрачность и ласкали взгляд всеми оттенками бирюзы. Погода просто радовала: ни ветерка, ни малейшей ряби облаков.

И идти было недалеко: километров десять, от силы пятнадцать, если быстрым шагом – сущий пустык для утренней прогулки здорового, сильного мужчины.

Там, в защищённом от ветра распадке, вырубленный из целой скалы, возвышался древний тотем – выполненное в незапамятные времена в камне изображение какого-то бога коренных жителей этой страны.

Какого, они и сами теперь толком не знали, но тем не менее свято чтили и всемерно почитали каменного истукана.

Так объяснял ему старый охотник из бывшего некогда первой столицей Новой Земли ненецкого поселения Малых Кармакул.

Охотник назвал себя Хилей Паковым и остался при экспедиции проводником. Он был уже слишком стар, чтобы гоняться за оленьим стадом, но хорошо умел готовить оленину, ловить рыбу в речках и, обычно молчаливый, слова зря не вытянешь, выпив, мог кое-что поведать о своём народе, его обычаях, откуда народ взялся и как попал на Новую Землю.

Он-то и показал Ивану Ивановичу в отдалённом урочище каменное изваяние.

На Большой земле, на материке, у ненецкого народа были другие тотемы. Там они поклонялись двухсаженному, семиликому деревянному тотему Вэсако, что в переводе означает «Старик», и деревянному же тотему Хэдако, что означает «Старуха».

А здесь, на архипелаге, они молились невесть откуда взявшемуся, поговаривали даже, что прилетевшему из созвездия Большой медведицы, откуда происходят родом и белые медведи, каменному колоссу. Однако Хиля имел более практичные убеждения и утверждал, что

изваяние оставили ненцам люди, которые жили здесь, на этой земле, давно, задолго до ненецкого народа.

– Давно это было. Очень давно, однако. Никто не знает, что это были за люди. В нашем народе говорят, они пришли оттуда, откуда к нам приходит солнце, – высказался старый охотник. – Тогда лёд был сплошной от Кармакул до Большой земли и не таял, однако, даже днём, – пуская клубы дыма из своей самодельной, выгесанной для аромата из смолистого корневища карельской берёзы трубки, объяснял старый охотник, имея в виду полярный, длящийся в этих северных краях почти два месяца день. – И олени свободно ходили с Большой земли к нам на остров и обратно. Тогда и жили эти люди. Но однажды оленей стало мало, и они, те люди, ушли вслед за оленями туда, куда ушли кормиться олени. Они ушли, но оставили нам своих богов, – рассказывал Хиля, дымя трубкой, раскачиваясь на корточках и глядя на огонь костра. Он не мог без костра.

Как же иначе! На этой унылой, насквозь продутой стылými ветрами земле, усеянной кое-где огромными, округлыми, обкатанными валунами – следами прошедших некогда древних ледников, и на которой, сколько можно было видеть, не росло ничего, кроме ягеля и вереска в укрытых от ветра низинах, огонь означал гораздо больше, чем любое другое божество.

Огонь означал жизнь и даровал надежду дожить до весны жуткой, угрюмой полярной ночью, когда небо над головой от края до края часто сияет и переливается холодным безумием пляшущих полярных огней, но обрадовать и согреть человека по-настоящему эти огни не могут.

Согреть человека может только огонь костра, тепло заваленного снегом до отверстия для дыма чума и надежда, что ему есть ещё на что надеяться, во что верить и для чего жить на этой такой холодной и бесприютной, не отличающейся излишним гостеприимством, насквозь навечно замороженной земле.

Двое мужчин сидели у костра, расположившись у основания возвышающегося над ними огромного, в несколько человеческих ростов, сделанного, возможно, ещё в бронзовый век, а может быть даже во времена неолита, каменного изваяния.

Они сошлись здесь, у огромной, грандиозной, поражающей воображение, возвышавшейся высоко в синем небе над ними каменной статуи непонятно чего и кому, отдалённо похожей на скульптурное изображение некоего устрашающего вида человеческого существа, как, бывает, сходятся представители двух различных временных эпох у несправедливо забытого общего прошлого, и, наслаждаясь теплом огня и магическим влиянием языков пламени на сознание, пили огненную воду поочерёдно из одного, прихваченного из дежурки специально для такого случая, обычного гранёного стакана.

Божественный огонь распространился и тёк по их жилам, обжигал им рот, и они гасили обжигающее пламя, заедая его кусками рыбы, которую Хиля выловил в ближайшей речушке и коптил теперь в дыме костра, распотрошив и насадив толстые, красномясые рыбыны на тонкие прутики.

Безбрежность ясного, без облаков, неба колыхалась над их головами, переливаясь от нежной бирюзы там, где солнце клонилось к горизонту, до густого синего цвета на восходе, и тундра, зеленея и цветя нехитрыми, еле заметными, скромными северными цветами, казалось, любовалась собой и, как в зеркало, гляделась в небо.

И где-то далеко, немислимо далеко отсюда, были сборные домики экспедиции, ещё дальше – самая неизвестная в мире из никому неизвестных бывших столиц – Малые Кармакулы, а уж огни современной цивилизации, её стремительный ритм и тяжёлая, всё сминающая поступь и вовсе как бы не существовали в этом эдемском саду. В окружающем мироздании царили тишина и полное умиротворение.

– Хорошо, однако! – одним махом хватнув добрячий стакан жидкого пламени и заедая его горячей, с костра, рыбой, обжигаясь, и морщась, и кривясь от несказанного блаженства,

отчего узкие глаза на морщинистом лице старого охотника совсем закрылись, односложно высказался, почти по-кошачьи промурлыкал, наслаждаясь выпивкой и изысканной, какую ни в одном ресторане днём с огнём не сыскать, деликатесной, с жару с пылу закуской, Хиля.

Они употребили ещё по паре стаканов, затем Хиля выбрал самую большую рыбину и положил её на основание монумента, к ногам каменного колосса.

– Подарок. Чтобы Бог не обижался, – объяснил он и, опустившись на колени перед суровым ликом изваяния, как бы сев на задники унтов и сложив перед собой молитвенно руки, надолго замолчал.

Иван Иванович вынул из сумки фотоаппарат и, отойдя на несколько шагов, снял с нескольких ракурсов и Хилю, и его Бога, и чадящий чёрным дымом, угасающий костёр.

В эти минуты ему даже казалось, что он понимает безграничную любовь старого охотника к тундре и к такому же древнему, как сама тундра, Богу тундры. И не только понимает, но и восхищается.

Внуки Хиля давно переселились в город, на Большую землю, где у них были семьи, благоустроенные квартиры, хорошая работа. Звали к себе и Хилю.

Но старый охотник не хотел к ним переезжать, как мог отказывался.

– Привык к тундре. Не смогу жить без неё. В городе, однако, людей много, машины шумят, воздух плохой, дышать нечем, – объяснял старик, и Иван Иванович понимал его.

«И продукты суррогатные, и люди, погрязшие в беспросветной глупости, животном скотстве и ничем не сдерживаемой алчности», – мог бы добавить он, но постарался благоразумно воздержаться от комментариев к образу жизни, складу ума и легкомысленным суждениям о превратностях жизни своих соплеменников.

Фотографии же, когда они вернулись обратно, получились прямо на заглядение – отменные.

– Хоть в журнал посылай, – высказался, разглядывая снимки Виктор Монгольский. – Такая фактура: огромное каменное божество и молящийся перед ним, стоящий на коленях старый абориген.

Всё натурально: и каменная стена ущелья на фоне неба, и каменный колосс, и валяющиеся вокруг обломки скал. Таких снимков нигде больше не сделаешь. Этот снимок, если его потрудиться разослать, может обойти все журналы мира.

Сам он пустых, по его мнению, переходов не любил, предпочитая экзотике дальних путешествий работу над документализацией и детальной отработкой научных статей.

А по возвращении в Белокаменную, если и позволял себе кое-какие нестандартные развлечения, то самым любимым из них была потаённая от всех страстишка перекинуться в покер, сыграть партию-другую с каким-нибудь записным, общепризнанным картёжным маэстро по мелочи, как это принято среди умных, интеллигентных людей, на пару-другую косых зелёными.

В этом он был весь, ещё с давних детских лет, с далёких южных пляжей, на которых он оттачивал до совершенства своё незаурядное мастерство картёжного игрока и блестящего психоаналитика.

Такая уж выпала им планида. И с этим ничего нельзя было поделать, ни что-либо изменить, ни перебросить карты судьбы по-другому.

Близкую этому случаю по духу сентенцию высказал как-то в сердцах один умный грек, когда его жена стала чрезмерно пенять ему, что вот она, как проклятая, сидит постоянно дома с детьми, в то время как он без конца пропадает на пиршествах и всяческих отмечаловах: «Каждому своё, моя дорогая! Богу – богово, а кесарю – кесарево!» Возможно, в каком-то смысле похожая история была и с друзьями.

Мягкий, слабохарактерный Иван Иванович больше интересовался красками и их сочетанием, а волевой, самолюбивый, упорный в достижении цели Виктор с младых лет предпочитал

реальный конечный результат и лучше всего в твёрдо осязаемых на ощупь и ласкающих взгляд и тешащих весомой значимостью душу наличных. И, обдирая по мелочи дешёвых пляжных мошенников, уже тогда, в босоногом детстве, получал несказанное эстетическое наслаждение от торжества ума над подлостью и хитростью, умея заранее предугадать возможный карточный расклад.

И, став учёным, защитив между прочих дел – семейных, занятий спортом, кабацких пирушек, увлечений легкомысленными и легко доступными красотками – как бы от скуки докторскую степень, так и остался в чём-то ребёнком, не отказывая себе любимому в давних детских удовольствиях: надрать от души какого-нибудь корифея в картёжном промысле, соединяя приятное с полезным, чем и славен был в научном мире и среди профессиональных игроков, получив, возможно из-за своей фамилии, широко известную в столице кличку – Монгол.

Чему, впрочем, полностью соответствовал своей восточной красотой и восточной же беспощадностью к противникам за карточным столом.

Ещё говаривали, слух такой про Монгола шёл, что в случае чего, когда в картах возникали ненормированные, нештатные ситуации, не было Монголу равных в бульварном, бесшабашном махалове.

А пару раз, когда спор пришлось решать на ножах, он каким-то изошрённым, зверским приёмом сумел направить финорез противника в его же руке прямо в грудь несчастному, и хорошо, если после этого жуткого приёма тому каким-то невероятным чудом удалось выжить.

Ловок и силен был Монгол. Сам он ходил без оружия, но горе было тому, кто обнажал против Витьки клинок. В таких случаях Монгол не знал пощады к противнику.

И уж если нож врага, недавнего партнёра по партии, по воле судьбы или злого рока, оказывался в груди любителя поножовщины, значит, такова была воля всевышнего. Монгол тут был совершенно ни при чём. Кому после этого и на что жаловаться? Картёжный расклад не всегда решается за ломберным столом.

Впрочем, дальнейшее Витьку обычно не интересовало. Он был достаточно интеллигентен, чтобы уметь поддержать разговор в любой предлагаемой недавним визави форме.

А если недавний собеседник не умел обращаться с оружием, так известно: не умеючи ведь недолго и порезаться, и незачем было его вынимать. Сидел бы лучше дома и ел вареники. Со сметаной.

И, получив полное удовольствие как от выигрыша, так и от того, как и каким образом, в хорошем мужском, чисто джельтменском стиле он отстоял этот ворох выигранных им бумажек, Монгол в наилучшем расположении духа покидал ристалище, предоставляя поверженному им противнику заботиться далее о себе по силе возможностей самому, молвя: «Что, любезный, хотел, то и получил. Неча рыпаться, коли Бог умом не сподобил!»

Так что репутация у Монгола в определённых кругах была ещё та.

Слабонервным не рекомендовали с ним связываться. Что совсем не мешало Монгольскому числиться в институте во всеобщих любимцах, особенно среди женщин. Абсолютно всех, поголовно: и красивых, с неумными и никогда не реализуемыми претензиями, и не очень.

– Витенька! – с придыханием, возведя вверх очи, как наши женщины это в совершенстве умеют, говорили они. И не просто говорили, а произносили это имя благоговейно, с трепетом в голосе, впадая в полный экстаз. – Витенька – это такой душечка! Золотой человек! Если бы все были такими! – с нотками сожаления в голосе, видимо, не слишком по-доброму вспоминая своих мужей, и не только мужей, говорили они.

И их несложно было понять. Монгол всегда был хорошо одет, великолепно держался, оказывал им всяческие знаки внимания, некоторым дарил дорогие духи на корпоративных междусобойчиках, и они, облагодетельствованные вниманием вальяжного красавца, что называется, души в нём не чаяли.

Попробовал бы им кто-нибудь возразить! О другой стороне Витькиной натуры мало кто, кроме Ивана Ивановича, что-либо знал. И то не всё.

То есть он понимал, что не всё так просто в картёжных раскладах. Многое зависит от того, какая карта выпадет и как на стол ляжет. И как фарт пойдёт. И какой противник сидит напротив: полный лох или слегка в уме и количество тузов в колоде знает. Но никогда бы Иван Иванович не подумал бы, что Монгол способен на крайности. Ну, если так, по мелочи, лёгкий мордобой. Не больше. Это за ним водилось.

Тут Витька был в теме. Это была его стихия, в которой он обрелся как рыба в воде. Любил помахать с наслаждением, в охотку. Он всё любил. А о своих подвигах Монгол сильно и не распространялся. Скромный был. Не любил излишне себя афишировать. Есть такие вещи, которые даже с друзьями не обсуждают. Так что Иван Иванович о своём друге особо ничего не знал.

Однажды только, появившись утром, как всегда с опозданием, на работе, устроившись уютно в своём кресле за рабочим столом и шурша разложенными на столе бумагами, он как бы между прочим, не форсируя особо звук и содержание, тихо обронил:

– Прибил я, кажется, вчера одного приятеля. Теперь и не знаю, жив ли он. Правда, с его стороны там секунданты были. Так что, на мой взгляд, это их заботы, что там с ним и как.

Нечто похожее Иван Иванович слышал и раньше и поэтому не стал выяснять подробности.

Прибил так прибил! Эка важность! Было о чём говорить! Такое и раньше не так уж редко случалось. Некуда Монголу было здоровье девать. Любил во всей красе себя показать. И раньше всё как-то обходилось по-тихому.

Но как-то, в конце дня, порядком угорев от плывущего над столицей зноя и мелких, изнурительных, доставших до невозможности хлопот на работе, Иван Иванович решил «охладиться» в ближайшем кабаке на Никольской, бывшей некогда началом Владимирского каторжного тракта, плавной дугой выходявшей к Красной площади, прямо к очертаниям возвышавшейся посреди улицы на другой стороне площади Никольской башне.

Ничто не предвещало неприятностей. Иван Иванович любил здесь отдыхать. Этот вид наводил на некоторые смутные, неопределённые мысли. И здесь было красиво. И, кроме того, с этим кабаком были связаны некоторые давние, полузабытые воспоминания.

Когда-то неподалёку отсюда располагалась известная на всю столицу гостиница и ресторан «Славянский базар». На стенах ресторана были развешаны портреты известных писателей с их автографами, деятелей искусства, просто известных людей.

Здесь звучала хорошая музыка, бывало, пели известные на всю страну популярные певцы. В полусумраке сцены развевались в такт музыке платья именитых цыганок, звучали звонкие, высокие голоса задорных цыганских исполнителей.

Он, тогда молодой, любил иногда здесь бывать, разумеется, когда в наличии деньги были.

Однажды за его стол под села молодая цыганка из ансамбля. Она была вызывающе красива, умела эффектно, театрально подать себя.

– Позолоти ручку, касатик! – обратилась она к нему. – Я всю правду тебе скажу о том, что было, что есть, что будет, чем сердце успокоится, – протянув над столом руку с раскрытой ладошкой, сказала цыганка. Её чёрные, как дождливая, ненастная ночь, глаза смотрели на Ивана Ивановича испытующе.

– А много ли надо? – растерявшись от неожиданности, спросил он.

– Сколько не жалко, дарягой, – ответила она. – Дашь мало – гаданье не сбудется. Дашь много – самому ничего не останется. Что тогда без денег завтра делать будешь? Ты ведь не богач. Я вижу! На что пить-есть станешь? Как без денег красивых женщин хороводить, завлекать начнёшь? – с улыбкой спросила она. – Дай бедной цыганке, сколько не жалко. Столько, чтоб всем хорошо было. Чтоб и тебе не в наклад, и нам, цыганам, не в обиду.

Зал затих. Иван Иванович не знал, как поступить. Вряд ли танцовщице ансамбля нужны были деньги. Он потянулся к боковому карману костюма, вынул сколько там было денег и положил в протянутую к нему над столом холёную ладонь танцовщицы.

И сразу, как будто только этого и ждал оркестр, громогласно грянула музыка и речитатив на высокой ноте завёл задравную. Заныла волынка, ударили в перебор струны гитары.

– Ай-яй-яй-яй-а-а-а, наш любимый, дорогой, поздравляем, поздравляем, наш любимый, золотой! – И закружились, размахивая и вздымая подола платьев, вокруг Ивана Ивановича цыганки-танцовщицы из ансамбля, подхватили его под руки, завертели, закружили, потащили на сцену.

– Ай-ляй-ляй-ляй-ля! Ай-ляй-ляй-ля, – выводил высокий, на летящих верхних нотах голос, и цыганка вертелась вокруг него и заставляла его танцевать, и весь зал словно сошёл с ума.

Все повскакивали из-за столов и пустились в пляс. И все вертелись, и выделявали ногами чёрт те знает что, и кружились, и всем было хорошо и весело. На какое-то время все забыли о своих заботах и проблемах, пока в зале царило всеобщее беззаботное веселье.

– Меня зовут Рада, – убегая вместе с остальными цыганами за кулисы и одарив его жарким взглядом, проговорила она. – Найди меня! Я всё про всё тебе расскажу. Никто, кроме меня, не нагадает тебе лучше меня. Приходи! У меня рука лёгкая. Как нагадаю, так и жить будешь. И ни о чём, что бы потом с тобой ни случилось, жалеть не будешь.

Ансамбль как неожиданно появился, так же неожиданно исчез. Спустя неделю он нашёл Раду. И они пили такое сладкое-пресладкое вино любви, горькое крымское вино «Красный камень», игравшее золотистыми солнечными искрами юга в их бокалах в недорогих кафешках на Ордынке.

Камень этот знаменит и многим известен. Он расположен в густых, необычайно красивых, светлых, пронизанных солнцем, лесных горах высоко над сказочной, волшебной Ялтой.

Его хорошо видно с набережной, от морпорта и из бывшего некогда пригородом Ялты небольшого селения – Дерекоя, или ещё этот пригород горожане называют Ущельным; по нему после осенних и весенних ливней весело бежит, бурля и перепрыгивая с камня на камень, одноимённая речка Дерекойка, берущая начало из тёмного, мрачного горного ущелья, недалеко от которого, почти рядом, и начинается селение Дерекой.

В Ялте есть ещё одна речка, берущая начало из горного водопада Учан-су, бурного в дожди и хорошо видимого из Ялты, впадающая в море на набережной, но название вино получило от Красного камня над Ущельным.

И ему приятно было пить вино, напоминавшее о юге, о чудесном, светлом, солнечном городе, о море, о селении, в котором он вырос и любил бывать, гулять по его улицам, наслаждаясь видом таинственных, как сама вечность, обступивших со всех сторон селение гор.

К камню вела извилистая лесная, горная дорога. Немного выше камня лес заканчивался и дорога выходила на плоское горное плато, на котором на краю обрыва стояла одиноко, в полном безлюдьи, белая высокая ротонда.

И он надеялся, что когда-нибудь, если повезёт, в конце пути, его жизнь выйдет на такое вот ровное плато с беседкой и он, сидя на краю пропасти в такой вот беседке, сможет через белые колонны оглянуться назад, на извилистую, сложную, не всегда правильную и праведную, со множеством глупых ошибок, лесную дорогу, по которой он так долго шёл через горы, крутыми опасными путями к этой беседке на краю пропасти.

И там наконец, возможно, в его душе воцарится спокойствие и умиротворение, в конце дороги, на краю страшной, жуткой бездны, откуда возврата нет, в такой, как на этом пустынном, безлюдном плоскогорье, пронизанной ясным, прозрачным светом белой ротонде.

А она раскладывала ему пасьянс на картах и говорила непонятные слова про долю и про судьбу.

– Доля твоя такая, – говорила она, – что никак тебе нельзя будет, даже если бы ты очень захотел, изменить свою судьбу. Если изменишь судьбу, которую выбрал однажды, станешь несчастным, – объясняла она, раскладывая пасьянс.

А ему было всё равно, какая ему выпала доля и какая будет судьба. Он целовал её в губы. Такая сегодня была его доля, а какая будет судьба, он не интересовался. Что будет, то и будет! Чего раньше времени без меры попусту волноваться?

И ещё он думал между поцелуями, что карты безбожно врут и уж что-то, а свою судьбу он выбрал давно, ещё в детстве. И менять её не собирался. Другой судьбы ему было не надо.

А она всё смеялась.

– Ну погоди! – говорила она. – Люди кругом! Дай догадаю! – И, разложив на столе между рюмками карты, вдруг вспыхивала огнём и часто говорила:

– Сегодня карты не хотят говорить правды. Вот завтра... – и смешивала картёжный расклад. И они отправлялись к ней, в гостиничный номер.

И потом, вернувшись домой, он никак не мог дождаться завтра. А через месяц он ушёл в экспедицию. А вернувшись через полгода, он узнал, что «Славянский базар» сторел, цыганский ансамбль распался, и никто не мог ему объяснить, где теперь искать Раду.

Через год он нашёл её в загородном ресторане на горе Ахун в Сочи. На гору вёл изнурительный винтовой серпантин, на котором с большим трудом могли разойтись две машины, что не мешало местным абрекам нестись стремглав сверху вниз, гарцуя на своих дорогих авто, как на рысистых скакунах, не снижая скорости. Кто хочет остаться живым – посторонится! Или будет раздавлен!

И стадо высокопородных авто, заполонивших площадь на вершине горы перед рестораном, без слов объясняло несведущим элитную значимость этого высокогорного заведения.

Там он и нашёл её, чтобы тут же потерять. Ансамбль был уже другой. Рядом с ней выплясывал худощавый, как цыганская плеть, прогонистый цыган в алой, на выпуск рубашке, перепоясанной цветастым кушаком. И она вертелась вокруг цыгана, как когда-то, не так уж и давно, вертелась вокруг него. Такие иногда бывают неожиданные открытия. Доверяй после этого этим сотканным полностью из наших фантазий и обманного флёра предполагаемых надежд и ожиданий, божественным, непредсказуемым и непонятным созданиям – женщинам!

И он сидел в полутёмном зале ипил горькую. А потом, выйдя покурить, он увидел, как она с цыганом села в сияющий никелем белый «Мерседес» и машина плавно унесла их в темную, волнующе ласковую, восторженную негу и томительное сладострастие южной ночи.

В пылающий внизу, под горой, огнями, полный соблазнов и веселья, никогда не скучающий город. В другую, незнакомую Ивану Ивановичу жизнь.

Перед тем как сесть в машину, она оглянулась. Их взгляды встретились. Ему показалось, что Рада его узнала и на минуту задержалась у открытой дверцы сияющего ландо, но из машины раздался требовательный окрик, и, то ли поздоровавшись, то ли как-то жалко кивнув ему головой, Рада нырнула в тёмное чрево автомобиля.

Машина тронулась с места и медленно, завораживающе блестя белыми лакированными боками и никелем, уплыла, исчезла в волнующей, мерцающей темноте. Больше он её никогда не видел. Вернее, однажды он встретил её при совершенно необычных обстоятельствах. Или так ему только показалось?

Он и по сей день, вспоминая тот случай, не мог правильно рассудить, настоящая это была встреча или всё это ему только привиделось. Померещилось в воспалённом необычной обстановкой и разрежённой северной, бедной кислородом полярной атмосферой мозгу.

Поэтому он изредка заглядывал в этот кабачок, расположенный почти на том самом месте на Никольской, где когда-то находился известный на всю столицу ресторан «Славянский базар».

Давно уже не было здесь ресторана. И Рады давно не было. Наверно, выплясывала где-то со своим цыганом. А может, с кем-то другим.

И жизнь уже изменилась и нисколько не походила на прежнюю, и люди. Всё кругом неузнаваемо изменилось! А он иногда всё еще заглядывал сюда по привычке, как будто эта улица возвращала ему свежесть и аромат молодости, воспоминания о жарких объятиях цыганки Рады.

Он поставил машину на свободное место в бесконечном ряду автомобилей на улице и сел на летней веранде, наслаждаясь открывшейся взгляду кремлёвской перспективой.

Откуда-то отсюда, от этой площади, от рубиновых звёзд над Кремлём начиналась Россия, противоречивая и не всегда понятная, но неизменно трогательная, бередящая душу и вызывающая восторг, любовь и трепетное восхищение.

– Вам как обычно? – спросил подойдя хорошо знавший Ивана Ивановича официант.

– Да, как обычно, пожалуйста! – ответил он и, когда официант принёс заказ, поблагодарил его, а потом, большими, жадными глотками поглощая из бокала пенящийся прохладный напиток, думал, что вот уже и вечер и самое время прикинуть, как его провести, куда пойти отдохнуть после доставшего до печёнок душного, суетливого дня.

Но что-то, как он неожиданно почувствовал, уже пошло не так, как обычно. Внутри него, помимо его воли, произвольно возникло нудное, беспокоящее, неприятное напряжение.

Он поднял голову и огляделся. Двое мужчин стояли у входа на веранду и наблюдали за ним. Один был толстый, довольно бесформенный, а второй – невысокий, мозглявый, в чём душа держится.

Оба, несмотря на жару, были «при параде». Они были в довольно мятых летних, светлых костюмах, при галстуках, и держались как-то, несмотря на банальный вид, вполне официально.

– С вашего позволения, ничего, если мы вас слегка побеспокоим? – спросил мордатый, без разрешения усаживаясь на свободное место за столом.

У него был густо заплывший фиолетовым цветом глаз, и говорил он так, как будто ему тяжело было открывать рот и он делал это через силу, медленно, как корова, жующая жвачку, а у второго, хлипкого, разнесло щёку с бордово-малиновым оттенком и перекосило рот, но все-таки они еще хоть и с трудом, могли самостоятельно говорить.

– Всего несколько минут, – болезненно кривясь, шепелявя и так же нагло занимая другой стул, заявил хлипкий. – Не откажите нам в любезности!

У нас к вам есть несколько слов, как к другу человека, – он страдальчески схватился за щёку, – известного нам довольно хорошо, но нельзя сказать, что только с одной, лучшей стороны. – Кого же это? – внутренне потешаясь, но стараясь не подать вида, спросил Иван Иванович. – Эх вам не повезло, болезные! – посочувствовал он приятелям. – Вы как будто под асфальтный каток попали. Но вам, мне кажется, ещё и крупно повезло. Вам всё же удалось из-под этого катка вылезти.

– Каток, каток! Вам хорошо известен этот каток!

– Если это тот каток, которого я знаю, можно считать, что вы ещё очень дешево отделались. Всё могло кончиться гораздо хуже. Тормоза у этого катка плохие. Часто отказывают. Так тот каток?

– Тот! Тот! Нам сказали, что вам знаком человек, в нашей среде мы называем его кликухой Монгол.

– Положим! – кивнул, поразмыслив, Иван Иванович. – Я что-то слышал об этом человеке. Что следует из этого?

– Нам известно, – сопя и отдуваясь, продолжил толстый, – что это ваш друг. Так вот, история простая: ваш друг тяжело ранил нашего брата. Братан сейчас в больнице. В реанимации. И хорошо, если выживет. Счёт мы предъявлять не будем. Нам не с руки. Мы пришли

сюда не за этим. Следует признать, они оба слегка погорячились. Произошла беда. Счёт ему предъявит братуха. Это его кровное дело. Если выживет. Если выйдет из лечебки.

Но мы вынуждены заявить, передайте вашему другану, что даже по нашим законам он был слишком жесток. Можно же было разобраться как-то по-другому. По-человечески!

– А что бы вам не передать это ему самому? Я всё-таки в ваших делах ничего не смыслю, – оведомился, отставляя в сторону бокал и размышляя, как ему быть дальше, Иван Иванович.

Добавить приятелям по фингалу или немного подождать? Подсевшая беспардонно публика определённо ему не нравилась.

И вкус коктейля с появлением этих людей почему-то вдруг испортился, и контуры Никольской башни на другой стороне Красной площади слегка поплыли и почему-то затуманились.

– Но вы же его друг! Вы же хорошо его знаете! – вклинился в разговор хлипкий.

– Выходит, вы знаете его гораздо лучше, – по возможности сдержанно возразил друганам Иван Иванович.

– Можно и так сказать, – мрачно перекурившись, согласился мозглявый. – Смотри, конечно, откуда смотреть. Но только нам с вами лучше попробовать найти общий язык. Возможно, нам ещё придётся встретиться. Это в ваших интересах. И в наших. Поэтому, чтобы не возникло новых, нежелательных эксцессов, товарищ у вас шибко нервный, может много чего, если не в настроении, из мебели поломать, и не только из мебели, как вы изволите видеть, – болезненно поморщась, показал он на щеку, – мы решили действовать через вас. Подумайте, взвесьте всё как следует. Поставьте в известность своего друга, – морщась, высказался хлипкий, – мы признаём его правоту. Но в случае повторения, – хлипкий многозначительно щёлкнул пальцами, – сходняк решил. Нас прислали сказать, вы понимаете, что будет дальше. Мы всё сказали. Нам было приятно с вами познакомиться. Засим позвольте откланяться.

Они поднялись и исчезли так же неожиданно, как и появились. Как их, бедолажных, и не было. На улице Никольской опять воцарились мир и спокойствие.

Он опять мог предаваться своим воспоминаниям и затуманившаяся было Никольская башня снова засияла в конце улицы, за площадью, как ей и полагалось, гордо и величаво.

– Ты встретился с братками? С пухлым и мелким? – рассмеялся Виктор, когда Иван Иванович рассказал ему о встрече. – Пришли, сволочи, пожаловаться. Мало я им навалял. Надо было посерьёзней с ними побеседовать. Чтобы не приходили этим дурачкам в голову глупые мысли. Посуди сам, что мне при таком раскладе оставалось делать? – удивился он, когда Иван Иванович в деталях передал ему разговор с незнакомцами.

– Подумать только, что деньги с людьми делают! Доводят некоторых до иступления. До полной потери сознания. Вот и они не захотели честно выигрыш отдавать. Мало того, бросились на меня с кулаками! Этим двоих я быстро успокоил, а их братан, бычара, пошёл на меня без оглядки. Здоровенный чёрт. Куда здоровей меня. Я таких и не видел. Глупый катала. Размахался по-дурному ножичком. Поверишь, вопрос решался быстро и до невероятности просто: или он, или я! Секундное дело. Нельзя было терять ни мгновения. Ты же знаешь, как всё это бывает. Я почему-то решил, что лучше пусть будет он. Пришлось пойти на вынужденные меры, – объяснил друг, но поверженного противника в больнице отыскал, оплатил все расходы по излечению, предложил мировую и, вернувшись, сказал Ивану Ивановичу:

– Я всё уладил. Можешь не переживать.

– А не мог бы ты перестать играть в эти опасные игры? – спросил Иван Иванович. – Мы всё-таки интеллигенты. Не дело интеллигентам с такими ничтожными людьми связываться. У них другой уровень мышления, другие, отличные от наших, допустимые нормы добра и зла.

– Мог бы! Очень даже мог бы. Но где же ещё смогу я найти такой драйв? И в карты поиграть. И подраться с превосходящим силами противником. И пару-другую приёмов запре-

щённых, костоломных для проверки действенности провести. Мне без азарта и страстей жизнь не в жизнь! – ответил Друг.

В этом он был весь, как есть. Драйв, кайф картёжной интриги, холодный расчёт, а при необходимости – отнюдь не исключалась немедленная демонстрация физического преимущества, в этом Виктор находил после науки весомые жизненные приоритеты. И Иван Иванович, зная, что любые дальнейшие разговоры бесполезны, больше не возвращался к этой теме.

А сам Иван Иванович – сбылось давнее, высказанное ненароком Монголом в детстве, случайное, по настроению, не более чем ситуативное предсказание – всему на свете предпочитал эфемерную и ненадёжную художественную стезю и, защитив, опять же с помощью Виктора, с большим трудом, кое-как кандидатскую по специальности, всё равно не расставался с «путеводным», как он его называл, по жизни мольбертом.

Так случается иногда, плохо это или хорошо, кто знает, что привязанности и склонности детских лет, мечты юности, остаются с нами в нашей взрослой жизни, украшая и наполняя её смыслом, и содержанием, и радостью созидания до конца наших дней.

Вот и бежал Иван Иванович тем ранним осенним утром скорым торопливым шагом, вдыхая разгорячённо обжигающий морозный воздух по первой пороше, с мольбертом на ремне через плечо и лёгким охотничьим ружьишкой в руках к каменному, забытому в веках в угрюмой, холодной до жути арктической пустыне Богу.

Надо было торопиться. Ох как надо было торопиться. Короток об эту поруосенний полярный день. И неверно быстро меняющееся северное освещение.

А ему так хотелось кистью передать то, что не могла передать любая, даже очень хорошая фотография.

Хилу он решил не беспокоить. Стар уже охотник для таких пробежек. А Виктор Монгольский, неизменный баловень судьбы и женщин, такими вещами не интересовался.

В его глазах никакие, даже очень старинные, артефакты не имели совершенно никакого практического смысла. Сухой прагматик. Человек дела!

Его нельзя было заставить и шагу ступить ради чего-нибудь, что не имело реальной, практической выгоды. Делать за здорово живёшь, за так, задаром что-то, что потом не шуршало.

Как-то в Монгольском непонятным образом уживались в одном флаконе и стремление к познанию нового, и чисто хищнические интересы.

С одной стороны, он был учёным, и довольно в научном мире уважаемым, а с другой стороны – в нём одновременно весьма благополучно, не мешая друг другу, уживались задатки мота, кутилы и бесшабашного игрока в карты.

Накануне вечером Иван Иванович предложил Виктору сбегать вдвоём к изваянию.

– Дело пустяковое. Это недалеко. Километров двадцать всего-то! – уговаривал он друга. – Там такая энергетика! Представь себе огромное каменное изваяние потрясающих, жутких размеров в глубоком ущелье, с обрывистыми, как ножом обрезанными, стенами. Рядом с этим жутким, пугающим колоссом что-то такое тебя охватывает первобытное, мистическое. Возле каменного изваяния Бога тундры забываешь, в каком веке живёшь и в какой эпохе. Цивилизация, вся дешёвая накипь современности с тебя слетает как ненужная, совершенно излишняя для нормальной жизни шелуха. Этот Бог особенный. Поверь, рядом с Богом многое, если не всё, становится удивительно простым и доступным сознанию.

– Э-э-э! Двадцать километров туда, а потом ещё двадцать обратно, это что ж получается? Не много ли суеты? И ради чего? Просвети, пожалуйста! Ради замшелого, покрытого плесенью древнего валуна грандиозных размеров, свалившегося в пропасть неизвестно откуда? Метеорита, прилетевшего из космоса, гигантского каменного чудовища, которому благодарные туземцы придали человеческий облик и назвали своим Богом. И заодно решили, что они тоже из космоса. Пришельцы якобы откуда-нибудь с созвездия Гончих псов или с Полярной звезды.

Теперь это модно среди некоторых народностей – канать под пришельцев. И даже выгодно. Глядишь, может кто и поверит.

Некоторые из аборигенов, кто похитрей, рассказывают, наверно, особенно доверчивым любителям экзотики, сидя в дымном, насквозь прокопчённом чуме, что ось вращения Земли на Полярную звезду направлена. Вот, мол, по этой оси они и спустились на Землю, на архипелаг. Прямо в самое что ни на есть богатое птицей, рыбой и диким зверьём место. Здесь и ружья не нужно. С одной палкой можно на скалах за неделю птицы на всю зиму наколотить. Богатый живностью архипелаг. Тут тебе и дикие гуси, и олени, и медведи, и моржи на побережье. И всего вдоволь! Бери сколько сможешь! Сколько душа пожелает! Райское место! Земля обетованная! Климат плохой, нам непривычный, а им в самый раз и насчёт еды – всего валом. И солнце всходит здесь, над этой негостеприимной землёй совсем не так, как везде, по расписанию, а по настроению: когда ему, его всесильному и всемогущему сиятельному сиятельству, вздумается воссиять над этими бесприютными горами и долинами, осветить после долгого отсутствия этот мрачный, угрюмый, до безумия холодный мир.

Представь, зимой везде на их Земле, за Полярным кругом, темным-темно. Почти два месяца всюду непроглядная полярная ночь, а здесь, над Новой Землёй, встаёт Солнце! Включаешь мозги? Подумай! Глухой, тёмной, полярной ночью – и вдруг Солнце! Почему ненцы и назвали Новую Землю Божественной Землёй. Что на их языке, на языке ненцев, звучит как Норо я – Божественная! Что там ещё этот древний тунгус Хиля Паков по пьяни тебе наплёл? Вы ведь друзья не разлей вода. Откуда взялся этот Бог? Откуда они? И ты ему поверил? Ты же всему, что тебе говорят, веришь! – вовсю потешался над предложением Ивана Ивановича Монгольский.

– Да нет! Не тунгус он. Обычный ненец. С материка. И представления о Боге и своём народе у него самые обычные, – возразил Иван Иванович Монгольскому.

– Бог достался им от людей, от племени, обитавшего здесь до них, может, в каменном веке, в отдалённые времена. В общем, неведомо каким чудом, из далёкого прошлого. Они его чтут и всемерно поклоняются ему. И нам отнюдь не худо было бы почтить вниманием это изваяние. Ты же видел фотографии. Это что-то необычайное! Невообразимое! Грандиозное! Фантастическое! Непостижимое уму! Ничуть не хуже египетских пирамид. Или скульптур фараонов в Гизе. И не менее древнее. Может и более. Возможно, даже более древнее, чем сфинкс, стерегущий в африканской пустыне вход в долину фараонов, – убеждал Иван Иванович Монгольского. – Как оно, это божество, уцелело до сих пор, вряд ли мы когда узнаем. Так что нам сходить туда, к Богу, надо. Поинтересоваться. И с познавательной стороны, и с чисто человеческой, эмоциональной. Случай необычный. Из ряда вон. Согласись, не каждый день нам такие экзотические, пришедшие из веков, а может тысячелетий, древние раритеты попадают.

– Ну с Богом, пожалуй, всё ясно, – ответил Монгольский. – Каменный хребет располагался на глиняном плавуне. Землетрясением его разломало на части. Отсюда обрывистые, как ножом обрезанные, стены в долине. Таких разломов много в Крыму, возле бухты Ласпи, когда часть горы отламывается и отплывает от основного скального образования. Здесь один из обломков остался на плавуне посередине. Вот из него некогда чьи-то умелые руки и сделали Бога. Таких богов много на свете. На Украине, в божественном, обласканном солнцем Крыму. В Индии и Америке. В Африке и Китае. Везде! Повсюду каменных истуканов видимо-невидимо. На небольшом острове Пасха около восьмисот штук. Тебе, как художнику, везде есть где разгуляться. А мне, дорогой друг, надо работать. Время дорого. Новые идеи насчёт образования вулканических кальдер появились. Надо успеть написать, – кивая на стол с листами бумаги, отказывался Виктор. – Боюсь, в институте текучка заест. Не до этого будет. И тебе я бы настоятельно советовал заняться делом, а не носиться по горам с мольбертом. Старый дуралей! Вернёмся в институт, с нас не картины твои спросят, а результаты горных разработок.

Когда ты уже умом хоть немного обзаведёшься? Смотри! Добегаешься! Как бы потом жалеть не пришлось! Оргвыводы могут быть с далеко идущими последствиями.

Разумеется, Иван Иванович всё это понимал и признавал справедливость слов друга, но и отказаться от небольшой пробежки просто так не мог.

– Я с тобой полностью согласен и насчёт работы, и, быть может, даже насчёт ума и всего остального, – пытался убедить друга Иван Иванович, – но там ты в кои веки увидишь что-то настоящее, первозданное, а не суррогаты, которые нынешние умельцы в живописи и скульптуре в изобилии выдают за современность. А для меня, пойми, это как глоток свежего воздуха, как очищение, как омовение холодной ключевой водой. На острове Пасха стоят просто каменные истуканы. Никто не знает, что это такое и зачем. И в других местах не лучше! – продолжал уговаривать приятеля Иван Иванович. – А здесь каменный Бог. Самый настоящий Бог тундры. Разницу понимаешь? Ничего подобного, как бы нам ни хотелось, мы больше нигде не увидим.

– А иди ты куда подальше со своим Богом, а заодно и вместе со всем первозданным, – начал ругаться последними словами Виктор. – Может, тебе что привиделось? Откуда здесь, в этих гиблых местах, взяться Богу тундры?

Здесь и людей-то нигде нет. Выпили вы лишнего с Хилей Паковым, вот и явился вам по пьяни Бог, – начал издевательски иронизировать над другом Монгольский. Ему очень не хотелось отпустить Ивана Ивановича одного в опасную дорогу.

– Я же тебе фотографии показывал! – стал убеждать Монгольского Иван Иванович.

– Фотографии отличные, разговора нет, но откуда мне знать, что там снято на самом деле? Почему я должен поверить тебе, что это Бог? – упирался Монгольский. – Займись лучше работой. Дел пропасть, а ты с Богом как с писаной торбой носишься. Возьмись за дело, дурь и пройдёт, – посмеивался друг. – Где бы мы ни были, ты всегда что-нибудь необычное находишь. Тебе всегда надо куда-то идти, что-то рисовать, хорошо хоть в этот раз недалеко, всего двадцать километров, – с издёвкой в голосе произнёс Виктор.

Они долго препирались. И безрезультатно.

– Ладненько! – устав ругаться, уступил наконец он Иван Ивановичу. – Мне твои миражи ни к чему, а ты сходи, коли такая блажь нашла, прогуляйся, проветришься. Нарисуй. Отобрази что-нибудь этакое, что нам, сирым и убогим, простым людям, без вас, художников, во веки веков не узреть, – издевательски произнёс он. – Потом гордиться будешь, что ты не такой, как мы, что тебе доступно что-то такое, что в наших убогих, тухлых, прозаических, пропитанных насквозь целесообразной практичностью мозгах как бы никогда и не ночевало. Кропал бы ты лучше потихоньку научные труды. Глядишь, быстрее бы в люди вылез.

– А мне это вроде как-то и ни к чему – в люди вылазить. Мне и так хорошо, – отвечал, собираясь в дорогу, Иван Иванович. – Среди людей, для тех, кто меня знает, моего круга знакомых, я известен такой, какой я есть. А пустопорожние понты мне ни к чему. Мне и без никчёмных понтов и шапкозакидательства хорошо живётся и дутой славы не надо.

Вот и пришлось ему по холмам, по взгоркам и косограмм вышагивать одному. Можно, конечно, было для прогулки взять вездеход и прокатиться с комфортом, в тепле и уюте. Но в низинах, по буеракам и болотинам, тяжёлая машина могла бы и не пройти. За милую душу она застряла бы, увязла в ближайшей топи. Нипочём её потом из болота не вытащишь. Если она вообще сразу не утонет. Вытаскивай её потом. Титаническая проблема. Проще бросить и благополучно, не тратя зазря нервы, в гиблой болотине забыть.

Чтобы не увязнуть, не угробить машину, пришлось бы кружить по гребням холмов, по кручам и буеракам, и очень неизвестно ещё, куда в конце концов выедешь. И вернёшься ли потом обратно!

Круты и губительно опасны дороги, равно как и их отсутствие, на архипелаге Новая Земля. И нельзя на этой земле одному пускаться в путь.

Рассказывают, летом, под кружащим над головой, неделями не заходящим за горизонт солнцем, нет привычных рассветов и закатов.

А зимой солнце неделями не всходит, и тогда среди унылого однообразия заснеженных лежалым снегом верхушек гор много бредовых химер могут материализоваться и явиться среди скал взгляду путника. И горе ждёт его, если он подружится с ними и примет их за реальность. Не будет тогда ему пути обратно в светлый мир людей.

С другой стороны, очень даже не дело являться к Богу тундры на лязгающем гусеницами, воняющем чадной гарью железном чудище. Не по-человечески это. Бог, какой бы он ни был, даже каменный, может осерчать и не понять и не откроет любознательному взгляду то, что нужно путнику.

Не так уж просто с богами договариваться, даже очень древними. И приличия, и такт, и этикет с богами не в последнюю очередь согласно ранжиру верховенства табели о рангах соблюдать надобно.

Всё это Иван Иванович очень хорошо понимал. И понимал опасность одинокого перехода в этом жутком безлюдье, где одному пропасть – раз плюнуть! И всё-таки он решил пойти один.

И вот почему он доверял ногам больше, чем технике. Гусеницы, конечно, во многих случаях отменная вещь, но иногда бывает, что ноги всё же лучше, надёжнее, чем гусеницы.

Да и чего бы здоровому, крепкому мужчине не прогуляться ранним морозным утром по свежему воздуху, где быстрым шагом, где бегом, а где остановиться, оглядеться кругом и как следует подумать о житии, о дорогах и о том, куда ведут нас в отдалённом будущем наши дороги.

Вот за что он любил и ни за какие пироги не променял бы ни на какую другую, сверх-благоустроенную, процветающую в райских куцах державу эту необъятную страну: за её волю вольную, за её бескрайние просторы.

Уж что-то, а разгуляться здесь, в этой огромной стране, при желании, настоящему мужчине во все времена было где, как и всегда, было чем утолить самое изощрённое, прихотливое мужское любопытство. Здесь всегда было, при желании, в избытке что необычное увидеть и на что никому неизвестное посмотреть.

И меряя большими шагами зелёный, слегка припорошённый первым, аппетитно похрустывающим под унтами снегом зелёный ковёр тундры, Иван Иванович испытывал ощущение, близкое к настоящему, не замутнённому бытовухой, чистой, как если бы он в немилосердную, испепеляющую жару, изнемогая от зноя, напился холодной, до ломоты в зубах, ключевой водой, счастьем.

Нет, пожалуй, он не назвал бы это счастьем. Это было что-то другое. Скорее, это напоминало то эйфорическое состояние, в котором пребывает молодость при первой влюблённости: некий яркий букет чувств, состоящий из сомнений, надежд, образов, эмоций, от которых начинала бурлить кровь, радугой расцветало небо – пышный букет соцветий, расцветающий всегда, когда в его сознании зарождался сюжет новой картины.

Перед его внутренним взором, в сознании, уже реально возникли отдельные детали нового полотна: расцветенное северным сиянием, огнями эльфов, сумрачное зимнее небо. Племя Хили, расположившееся вокруг исполинской громады каменного Бога. Вздвигающееся к небу пламя костра. Шаман племени в одежде, увешанной беличьими и собольими хвостами, камлающий в экстазе, высоко подняв над головой бубен, и кружащий перед замершими в ожидании чуда ликами соплеменников в багровых отсветах пляшущих языков пламени костра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.